Теория

Андрей Корбут

Привычка как точильный камень феноменологии

Статья посвящена проблеме привычек и возможностям их феноменологического описания. Проблема привычки является ключевой для феноменологии и социологии как наук о само собой разумеющемся повседневном мире. Необходимость обращения к феноменологическому пониманию привычки обусловлена тем, что в социологии это понятие было вытеснено на концептуальную периферию, в то время как в феноменологии интерес к привычке как предмету описания сохранился. Тем не менее, феноменологический подход имеет ряд ограничений, связанных с понимаем привычки как автоматической и необъективируемой телесной активности.

В статье на основе анализа практики письма показывается, что феноменологическое понимание привычек должно быть дополнено двумя компонентами: представлением о привычке как способе упорядочивания внешнего мира и представлением о привычке как расширении компетенции. В качестве ключевого понятия для такого уточненного понимания привычки предлагается понятие «эмпирический стиль», введенное Э. Гуссерлем.

Ключевые слова: привычка, феноменология, Эдмунд Гуссерль, Морис Мерло-Понти, Арон Гурвич, практика письма, практическая компетенция, эмпирический стиль.

О чем говорят, когда говорят о привычке? Разумеется, это не вопрос о реальности, обозначаемой данным словом. Как и не вопрос о смысле, который человек или группа людей

Корбут Андрей Михайлович — MA in Sociology (МВШСЭН, 2011), научный сотрудник Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ, преподаватель факультета социологии НИУ ВШЭ, преподаватель факультета социальных наук МВШСЭН. Научные интересы: этнометодология, конверсационный анализ, социология повседневности. E-mail: korbut.andrei@gmail.com

вкладывает в данный термин. Это вопрос о том, в каких ситуациях высказывание о привычке становится осмысленным. Эта осмысленность может обеспечиваться, во-первых, текущей ситуацией, индексом которой является слово привычка: с его помощью мы указываем на то, как надо понимать актуальное положение дел, которое выступает одновременно проясняемым и проясняющим контекстом обыденного языкового употребления. Во-вторых, мы можем делать привычку осмысленной в качестве предмета концептуализации, т. е. теоретической практики. Здесь данный термин тоже выступает указателем, но на ситуацию теоретизирования. Наконец, в-третьих, мы можем понимать осмысленность прагматически в зависимости от того, к каким осязаемым последствиям ведет употребление данного термина. В третьем случае нам необходимо постоянное удержание в поле внимания двух предметов: реальных действий в реальном мире и описаний этих действий, причем эти описания составляют часть самих действий. Я сконцентрируюсь на втором и третьем способах придания осмысленности термину «привычка» с целью демонстрации того, какого рода практику он предполагает и какого рода понимание привычки можно предложить, так, что, отталкиваясь от наиболее продуктивной попытки концептуализации привычки в социальных и гуманитарных науках, а именно феноменологического подхода, это новое понимание будет неизбежно преодолевать феноменологическую точку зрения.

Феноменология — дескриптивная наука о феноменах явленности обыденного мира, конституируемого в направленных на него актах живущих, действующих и говорящих людей. В отличие от всех предыдущих традиций описания связи между актами познающего субъекта и познаваемого им мира естественность этого мира становится в феноменологии предметом анализа, а не предпосылкой исследования. Феноменолог должен понять, каким образом мир приобретает для нас естественный характер, для чего он должен отказаться от любых предшествующих способов оценки связи между субъектом и миром, включая само традиционное философское разделение на субъект и противостоящий ему мир. Привычка в этом случае становится образцовой иллюстрацией того, насколько люди способны оестествлять мир. Если, как утверждает Гуссерль, очевидность — основная черта интенциональной жизни [Гуссерль, 1998, с. 133], и если задача феноменологии — «со всей серьезностью спросить о том *само собой разумеющемся*, которое предполагается всяким мышлением, всякой жизнедеятельностью, во всех ее целях и свершениях» [Гуссерль, 2004, с. 156], тогда привычка — высшее проявление интенциональности, поскольку сложно себе

представить более высокую степень принятия мира как чего-то само собой разумеющегося, чем в привычке. Феноменологическое описание привычки, например, привычки надевания носков, предполагало бы выявление того горизонта очевидности, в котором эта привычка реализуется как реальное действие в реальном мире. Скажем, обычно я надеваю носки, начиная с левого. Я беру носок, расправляю его, помещаю большие пальцы внутрь, собираю его гармошкой примерно до середины нижнего отсека (горизонтального отсека, который облегает собственно ступню), а затем надеваю. Сама процедура надевания носка, если в ходе ее осуществления я не сталкиваюсь с какими-то препятствиями (например, я могу неправильно надеть носок, так, что его пятка будет располагаться не на своем месте), занимает насколько секунд и проходит совершенно бездумно. Я делаю это много лет и почти каждый день. При этом я не обращаю внимания на носок в том смысле, что я не обдумываю каждый раз последовательность своих действий, как мне брать носок, как мне его поправлять и т. д. Я совершаю все это автоматически, как нечто совершенно естественное. Более того, если в этот момент присутствуют другие люди, они тоже воспринимают это как нечто очевидное и не требующее дополнительного внимания, помимо того внимания, которое мы уделяем самому носку и надевающему его человеку как само собой разумеющимся объектам во внешнем мире. Мы знаем, что такое носок и как с ним можно обращаться, и хотя способы надевания могут различаться от человека к человеку (и, кроме того, существуют общества, в которых носки не используют или вообще не знают об их существовании), привычка надевания носка предполагает конституирование серии очевидностей, связанных с положением и формой объектов внешнего мира и с моторными действиями. Феноменолог должен провести дескриптивный анализ этих очевидностей, т. е. изложить их и показать, каковы их условия.

Хотя в первоначальных работах Гуссерля понятие привычки употребляется достаточно редко и несистематическим образом[1], после появления работ Мориса Мерло-Понти и Мишеля Анри, которые вывели на первый план феноменологии проблему телесного бытия в мире, проблема привычки стала одним из центральных предметов интереса для феноменологов. Анри указывает на это значение телесности и привычки для феноменологии следующим образом: «...мир есть тотальность содержаний всех переживаний моего тела, предел всех моих реальных или возможных движений. Этот предел может бесконечно воспроизводиться, эти переживания

1 О понятии «привычка» у Гуссерля см. [Moran, 2011].

всегда принципиально доступны мне, поскольку мое движение — это не текущее и так называемое эмпирическое положение моего тела и поскольку его бытие есть, скорее, само бытие онтологического знания. Именно эту тождественность первичного бытия движения и онтологического знания мы выражаем, говоря, что тело есть сила, что его знания не ограничиваются настоящим случаем, но что это возможность знания вообще, реальная и конкретная возможность данности мне мира. Мы называем *„привычкой“* реальное и конкретное бытие онтологической возможности, и мы точно так же выражаем идею, что тело есть сила, говоря, что оно есть привычка, тотальность наших привычек. Мир есть предел всех наших привычек, и именно в этом смысле мы являемся его обитателями» [Henry, 1975, p. 96]. Связав само бытие мира в его данности с привычками как радикальными телесными феноменами, феноменологи открыли возможность описания естественного мира в качестве предмета дескриптивного анализа. Критика, которую Гуссерль направляет сначала против мышления Канта, а затем против мышления всякого человека [Гуссерль, 2004, 154], заключается в том, что и первый, и второй используют само собой разумеющийся жизненный мир в качестве непроблематизируемой предпосылки своего мышления, в то время как задача состоит, наоборот, в «последовательном проникновении в смысловые и значимостные импликации этого само собой разумеющегося» [Гуссерль, 2004, с. 154]. Феноменолог должен использовать «наглядно-указывающий метод» [Гуссерль, 2004, с. 157], который только и предоставляет доступ к подлинному основанию нашего повседневного жизненного мира: к нашей «кинестетически функционирующей живой телесности», т. е. к «Я, функционирующему здесь в своей самобытной активности и хабитуальности» [Гуссерль, 2004, с. 148]. Привычки действия выражают то, каким образом нам дан само собой разумеющийся жизненный мир, и их анализ позволяет понять, каким образом конституируется этот мир в его привычности.

Феноменология как наука об очевидных данностях опыта сталкивается с рядом проблем, идентичных проблемам, решаемым другой наукой об условиях очевидности повседневного мира — социологией. Попытку построения феноменологической социологии Альфредом Шюцем следует рассматривать не столько как попытку привнесения в социологию феноменологических тем и понятий, сколько как демонстрацию изначальной близости проблемного поля феноменологии и социологии. И та, и другая хотят прояснить основания очевидности мира для живущих в нем людей. Однако условия очевидности, которые ищет феноменолог, отличаются от условий очевидности, которые ищет социолог. Сопоставление феноменологической и социологической точки зрения особенно

уместны и показательны в случае привычки, поскольку, как и феноменолог, социолог выясняет условия возникновения и поддержания общего повседневного мира. Эта проблема, которая в социологии получила название проблемы социального порядка, является центральной для любых социологий. Она не специфична для так называемой феноменологической социологии, поскольку любая социология должна объяснить возможность естественного мира, считающегося его обитателями само собой разумеющимся. Отличие феноменологической социологии от прочих социологических традиций заключается в том, что она описывает условия естественности общего социального мира с точки зрения когнитивного стиля, соответствующего естественной установке, которая выступает верховной реальностью, начальной и конечной точкой любой осмысленной деятельности[1]. Другие подходы апеллируют к экономическим процессам или идеологическим конструкциям, или драматургическим представлениям, или коммуникативным действиям, или нормативным порядкам, или социальным структурам, или символически опосредованному взаимодействию, когда пытаются объяснить условия естественности повседневного мира. Но отправной момент, а именно очевидность происходящего для повседневных акторов, остается общим для всех них. Преимущество философской феноменологии заключается в том, что она пытается выявить условия очевидности не вне, а внутри самого действия. Феноменологическая социология не смогла довести эту линию до конца (оказавшись в руках социологов, феноменология во многом потеряла свою продуктивность), застряв на полпути, но в философской феноменологии есть инструменты, позволяющие решить эту задачу. Там, где социологи оперируют привычкой как само собой разумеющимся ресурсом своих описаний, задаваясь вопросом, каковы условия появления и распространение привычек, феноменологи ставят вопрос иначе: что делает привычку привычкой? Ответ, указывающий на разделяемые в некотором сообществе представления о том, как нужно действовать в определенных обстоятельствах, здесь неприемлем, поскольку он требует признания очевидности привычного действия, которая как раз и требует анализа.

В феноменологии можно обнаружить, как минимум, два решения задачи установления условий очевидности. Первое решение, предложенное Мерло-Понти, апеллирует к сигнификативной сущности привычки. Согласно ему, «мы можем сказать, что тело усвоило навык, что он приобретен, если тело прониклось каким-то новым значением, ассимилировало в себя новое сигнификативное

1 См. об этом работу Шюца [2003] «О множественности реальностей».

ядро» [Мерло-Понти, 1999, с. 195]. Это ядро носит телесный характер, т. е. это «двигательное значение» [Мерло-Понти, 1999, с. 192], которое соотносится не с объективным телом, существующим в пространстве и имеющим определенные свойства, а с феноменальным телом (Мерло-Понти называет его «привычным», Анри — «субъективным»), переживаемым в момент его соприкосновения с миром и интеграции объектов этого мира в само тело. Известный и наиболее характерный пример такой двигательной интеграции объектов в феноменальное тело — отношения слепого человека с его тростью. Мерло-Понти указывает, что для слепого трость перестает существовать как самостоятельный объект и становится как бы частью тела, с помощью которой он ощупывает окружающий мир. Необходимость апелляции к сигнификативному ядру связана с тем, что только таким образом можно объяснить возможность формирования навыка (для Мерло-Понти это синоним привычки) и переноса привычки [Merleau-Ponty, 1963, p. 97]. «Научение происходит в системном виде: субъект не сращивает конкретные движения с конкретными стимулами, но приобретает способность отвечать решениями определенного типа на ситуации определенной формы; ситуации могут сильно различаться от случая к случаю, выполнение ответных движений может поручаться то одному органу, то другому, и сходство ситуаций и решений в различных случаях проявляется не столько в частичном совпадении их элементов, сколько в общности их смысла» [Мерло-Понти, 1999, с. 190]. Поэтому привычки — это смысловые комплексы, предполагающие и обеспечивающие способность осуществлять типичные действия и воспринимать типичные обстоятельства. Независимость привычки как от конкретных деталей обстановки, так и от конкретных способов ее реализации, делает привычку привычкой. Человек осваивает мир, который «врастает» в него, т. е. в его тело. Между Я человека и его телом нет границы. Я есть мое тело. Как только исследователь такую границу устанавливает, он вынужден строить свое понимание условий очевидности повседневного мира на анализе ментальных процессов, протекающих в сознании субъекта. Но, как показывает Мерло-Понти, в той мере, в какой люди вынуждены задумываться о том, что они делают, их естественная связь с миром разрушается, что в предельном случае может свидетельствовать о психической или органической патологии. Подробное обсуждение патологических случаев, описания которых Мерло-Понти заимствует из работы психологов, необходимо ему, чтобы показать, что в патологии происходит как раз разрушение рутины, мир утрачивает свою очевидность, и люди пытаются с помощью психологических процессов компенсировать невозможность привычного действия (перцептивного или моторного). Но для понимания привычного действия нам

не нужно апеллировать к ментальным механизмам. Способность типичным образом реагировать на типичные ситуации не опосредована процессами восприятия, запоминания и мышления. В ее основе лежат инкорпорированные смысловые целостности. И обращение к объективной структуре мира и тела, и обращение к психологическим процессам не дадут нам феноменологического знания условий очевидности.

Но даже если психологические процессы не сопровождают телесное действие, означает ли это, что внутри привычки мы не можем разделить движение и процесс перцептивного синтеза этого движения? Для Мерло-Понти такое разделение невозможно, но именно оно лежит в основе иного подхода к описанию условий очевидности, предложенного Ароном Гурвичем. Он обращает внимание не столько на саму привычку, сколько на то, в какой феноменальный контекст она погружена. Не возражая Мерло-Понти в том, что касается неосознаваемого и необъективируемого характера привычных действий, Гурвич отводит телесному опыту маргинальную роль: «Кинестетические переживания, как реальные, так и вымышленные, постоянно сопровождают перцептивный процесс в качестве маргинальных сопутствующих элементов, но не интегрированы в этот процесс» [Gurwitsch, 2010, p. 497]. Когда мы говорим, то не замечаем движений рта и языка, а когда смотрим — движений глаз. Точнее, их осознание находится на периферии нашего восприятия, в центре которого располагается развиваемый аргумент или воспринимаемый предмет, составляющие тему нашего восприятия. Следовательно, процесс действия и процесс восприятия можно разделить: «...эти два набора данных, хотя они и переживаются вместе и в соотнесении друг с другом, тем не менее, даны в качестве четко различающихся и не связанных друг с другом; каждый из этих наборов явлен в области или в порядке данных, ясно отличающемся от другого» [Gurwitsch, 2010, p. 486]. Иными словами, я не есть мое тело. Привычный мир конституируется в своей феноменальной явленности в актах перцепции, которые в противоположность тому, что утверждает Мерло-Понти, разворачиваются иначе, нежели моторные акты, и потому привычка — лишь маргинальный феномен, не позволяющий сам по себе объяснить и описать условия очевидности. Согласно Гурвичу, центральными для описания процессов конституирования повседневного мира должны быть понятия темы и тематического поля.

С моей точки зрения, оба феноменологических подхода к условиям очевидности обладают рядом принципиальных недостатков, которые вытекают из ошибочности исходного понимания привычки как полуавтоматического действия, которое протекает нерефлексивно. То, что феноменологически понятое привычное действие

нерефлексивно, будь то в силу переплетенности тела и мира, как у Мерло-Понти, или в силу маргинального положение кинестетических переживаний на границе тематического поля сознания, как у Гурвича, свидетельствует о необходимости не прояснения условий этой нерефлексивности, а отказа от феноменологического образа нерефлексивного действия, который распространен далеко за пределами феноменологии. Не только феноменолог Эмбри выделяет три пласта или макрослоя ментальной жизни: первично пассивный (автоматический), вторично пассивный (привычный), активный (операционный), которые различаются степенью участия эго в разворачивающемся акте [Embree, 1975, p. 179–180], но и социолог Камик объясняет изгнание привычки из рядов достопочтенных социологических понятий торжеством рефлексивной концепции действия, которая оказалась не способна переварить такое нерефлексивное действие, как привычка [Camic, 1986][1].

Поэтому я хочу показать, каким образом мы можем заострить феноменологию, используя в качестве точильного камня привычки. В отличие от Дона Иде [Ihde, 1993], для которого постфеноменология заключается в распространении феноменологического метода на новые темы, в первую очередь технитизацию жизненного мира, я предлагаю попробовать выявить потенциал радикализации феноменологического метода, не реализованный в самой феноменологии.

Чтобы прояснить свой аргумент о необходимости заострения феноменологического подхода к привычке, я должен вернуться назад к самим вещам. Одной из таких вещей является письмо. Умение писать — повсеместно (пока еще) распространенная и выработанная привычка. Хотя сегодня необходимость в письме возникает все реже, этот навык все еще востребован, например, когда нам нужно заполнить официальный бланк, расшифровать свою подпись на документе, написать список покупок в магазине, сделать запись в личном дневнике, законспектировать лекцию, подписать открытку, оставить записку для отсутствующего человека и т. д. Разумеется, письмо можно рассматривать как часть какой-то более обширной привычки (например, я могу садиться писать письма каждый вечер после ужина или вести регулярный дневник), но при этом важно не только то, что я делаю это в одно и то же время, но и что делаю это одним и тем же способом. Здесь возникает вопрос: насколько глубоким может быть феноменологическое описание привычки?

1 Примерно в том же духе понимает привычки социолог Эннти Гронов, для которого привычка — это «предрасположенность действовать определенным образом в знакомых средах» [Gronow, 2011, p. 10].

Следует ли описывать сам конкретный способ поведения? Мой тезис, который я постараюсь проиллюстрировать и обосновать ниже, состоит в том, что адекватное описание привычки предполагает описание способа действия. Общепринятый взгляд на привычку разделяет поведенческие акты и регулярность их осуществления, подчиняя первые второй, и тем самым делая повторяемость привычки ее идентифицирующим признаком. Поэтому традиционный вопрос о том, что такое привычка, требует ответа в терминах источников регулярности. Я же предлагаю отвечать на этот вопрос в терминах методов или способов действия[1].

Предположим, кто-то попросил меня написать слово «постфеноменология». Я сделал это, засняв процесс на видео. Он занял у меня около 8 секунд. Полученный результат выглядит так:



Как я написал это слово? Какого рода феномены мне необходимо было произвести, чтобы выполненное мной действие могло быть названо привычным?

Первый штрих буквы *п* задает определенное пространство возможностей: я не могу дальше перенести руку или кончик ручки в какое угодно место на листе бумаги. Когда я взял ручку в пальцы, я очертил пространство для потенциальных движений, которое в результате проведения первого штриха приобрело ориентированный характер. Далее я буду писать, ориентируясь на этот первый штрих: на его положение на бумаге, на его длину, на его наклон и на то, как я его нарисовал. Я нарисовал его росчерком сверху вниз, поскольку это позволяет мне создать левую ножку буквы *п* без утраты узнаваемости буквы. Если бы я нанес первый штрих снизу вверх, в дальнейшем мне было бы сложно сохранить эту зримо выделяющуюся ножку, для создания которой мне понадобились бы дополнительные усилия, нужные, чтобы ее нельзя было спутать, например, с буквой *л*. Итак, я наношу первый штрих, и когда я достигаю его нижней точки, я могу перейти к следующему элементу буквы *п* без отрыва ручки от бумаги. Следующий штрих возникает в уже упорядоченной ситуации: он должен соотноситься с размером предыдущего штриха, и хотя достичь в точности такого же размера бывает сложно (и вряд ли необходимо), он не может заметным образом быть выше или ниже левой ножки *п*. В моем случае он получил-

1 Мой ответ не уникален. Схожий ответ дают Гарольд Гарфинкель [Garfinkel, 2002] и Гилберт Райл [Райл, 2000]. Я, однако, предлагаю дополнить этот ответ рядом элементов, которые будут обсуждаться ниже.

ся немного ниже, но при этом сохранил размер, достаточный для второго элемента буквы *п*. Ведя ручку снизу вверх, я соблюдаю два условия: во-первых, я должен нарисовать эту линию такой, чтобы она была выгнутой вверх или прямой, но в любом случае не выгнутой вниз, чтобы результат нельзя было спутать с буквой *и*, и в то же время она должна быть определенной длины. Ее длина задается не какой-то конкретной точкой, в которую я хочу привести ручку, а высотой первого штриха и наклоном второго штриха, который обозначается сразу, как только я довел кончик ручки до нижней точки левой ножки буквы *п* и повернул вверх и направо. При этом мне нет необходимости повторять конструкцию печатной буквы *п*, которую я смог бы нарисовать, только замедлив движение ручки или увеличив размер буквы. То есть мне нет нужды, дойдя до нижней точки левого штриха *п*, потом подниматься вверх тем же путем и, не доходя до верхней точки, сворачивать направо. Я сразу перехожу к построению второго элемента, ориентируясь на возникший в результате моих действий первый штрих и дальнейшую траекторию движения ручки. Практическая необходимость нанесения второго штриха навязывает мне свою, «ручную» логику, в которой создание второго штриха заключается в реальном перемещении ручки по бумаге, а не в соотнесении того, что я пишу, с ментальным образом буквы *п* или с двигательным автоматизмом, выработанным в прошлом. Чтобы буква *п* приобрела узнаваемые черты, она должна стать практически осмысленной, т. е. каждый новый штрих соотносится с только что созданными и потенциально создаваемыми штрихами. При этом между пишущейся буквой и методом ее построения нет зазора: я не применяю некоторый способ написания, по результатам которого я сужу об успешности или неуспешности совершенного действия. Наглядная буква рефлексивным способом связана с практикой ее рисования. Метод моего действия *заключается* в его результате, и поэтому я могу строить букву таким образом, чтобы она была узнаваемой в качестве способа ее написания в момент ее написания, а не в качестве конфигурации черных чернильных пятен на белой бумаге, требующих дальнейшей интерпретации.

Проведя второй штрих, я снова делаю зримый разворот (при этом я продолжаю вести ручку по бумаге, не останавливаясь для того чтобы изменить направление ее движения) и веду ручку вниз, рисуя правую ножку буквы *п*. Переход к ней, как и первый переход от первого штриха ко второму, не резок, закруглен, но не настолько, чтобы помешать узнаванию буквы *п*. Хотя некоторая резкость второго перехода и плавность первого могут создавать проблемы при дальнейшем чтении, их достаточно для создания опознаваемой буквы в виде здесь и теперь упорядочиваемых деталей практического действия. Я решаю задачу *написания* буквы,

заключающуюся в последовательном ведении ручки по бумаге. Это не задача распознавания воспринимаемых образов.

Третий элемент буквы *n*, как можно видеть, не параллелен первому. Он утрачивает наклон, становясь почти вертикальным. Кроме того, он опускается ниже линии письма. Впрочем, здесь я забегаю вперед, пользуясь привилегией того, кто имеет перед глазами конечный результат: полное слово, уже расположенное на бумаге определенным образом. В момент окончания буквы *n* я не знаю, как будет выглядеть мой дальнейший штрих и возникнет ли необходимость скорректировать письмо. Когда я довожу правый штрих до низа и опять разворачиваю ручку вправо, чтобы перейти к букве *o*, я вполне могу продолжить писать таким образом, чтобы в дальнейшем базовая линия письма проходила через окончания левого и правого штрихов буквы *n*. Более того, буква *o* и находится на этой потенциальной базовой линии, отклоняющейся от реальной базовой линии, о которой мы можем судить по окончательному результату. В момент написания первой и даже второй букв эта базовая линия пока еще не намечена окончательно. Здесь я могу еще «направить» слово в разных направлениях, которые, конечно же, не могут быть любыми: я могу двигаться лишь путями, соответствующими уже нарисованным штрихам. Я нахожусь в пространстве, уже упорядоченном своими прошлыми действиями. Тем не менее, пока открыты разные возможности построения базовой линии.

При переходе к букве *o* возникает еще одно обстоятельство, которое в дальнейшем будет неизменно сопровождать написание каждой новой буквы: каждая буква должна быть зримо отделена от предыдущей буквы, но таким образом, чтобы не создавать пробел или разрыв, который может быть увиден как разрыв между словами. Завершив букву *n*, я веду ручку снизу вверх по траектории, параллельной траектории среднего штриха буквы *n,* и довожу ее до точки, которая располагается чуть выше верхней точки среднего штриха, если судить по намечающейся пока базовой линии. Появляющаяся в результате вилка, образованная правым штрихом *n* и соединительной линией между *n* и *o,* заметно отличается от вилки, образованной левым штрихом *n* и соединительной линией между левым и правым штрихами *n*. Тем самым созданы необходимые условия для написания *o*: ручка приведена в точку, отстоящую достаточно далеко от *n* и располагающуюся достаточно высоко, чтобы начать писать *o,* но не настолько, чтобы нарушить вырисовывающуюся базовую линию. Я рисую букву *o*, начав с точки, в которой остановился кончик стержня, и веду его вниз и затем вправо, чтобы создать нижнее закругление овала, касающееся намечающейся базовой линии, после чего веду ручку вверх и влево, завершая букву *o*. В ито-

ге я привожу кончик стержня примерно в то же место, с которого начал рисовать *о*, где делаю небольшую петлю, направляя ручку вниз и затем резко направо. Я рисую петлю поверх буквы *о* и благодаря этому получаю выход к букве *с* без отрыва ручки от бумаги. Проделанные мной шаги, помимо того, что они привели к появлению буквы *о*, в которой можно четко различить внутренний овал и которая обладает высотой, сопоставимой с высотой предыдущей буквы, позволили мне оказаться в таком месте листа бумаги, в котором я могу, не нарушая целостности пишущегося слова с его высотой и базовой линией, нарисовать букву *с* таким образом, чтобы она не только отделялась от буквы *о*, соответствовала предыдущим буквам по высоте и располагалась на одной с ними линии, но и могла быть нарисована наиболее быстрым и узнаваемым способом. Если бы после буквы *о* я оказался слишком далеко и слишком высоко, то мне было бы сложно нарисовать верхнюю часть *с* так, чтобы она была легко различима. Если бы я оказался слишком низко, мне бы пришлось, рисуя *с*, вести ручку с нижней точки вверх, а затем возвращаться тем же путем, иначе *с* утратит свою узнаваемую форму. Поэтому в процессе написания *о* я начинаю и заканчиваю вверху, делая петлю, чтобы начать строить букву *с* в точке чуть ниже ее верхнего хвоста.

В случае буквы *с* в моем написании слова «постфеноменология» наблюдается некоторый скачок: она располагается явно выше предшествующей ей буквы *о*. При замедленной перемотке видео этот момент становится особенно заметным: я делаю резкий бросок вправо и вверх, рисуя торчащий из буквы *о* соединительный штрих. (Как в и других моментах, повышение скорости письма вызывает на видео размывание изображения. Если посмотреть все видео целиком, то написание слова «постфеноменология» представляет собой постоянное чередование ускорений, замедлений и остановок.) Отведя кончик стержня заметно выше буквы *о*, я делаю заметной эту разницу на фоне определенным образом расположенного листа с перпендикулярными гранями, которые я могу использовать в качестве ориентира. Границы листа бумаги отстоят достаточно далеко от места, где сейчас разворачивается письмо, и поэтому они не могут служить однозначной подсказкой, как если бы я писал по заранее прочерченной линии, но они все же позволяют мне предварительно судить, как будет располагаться пишущееся слово. Скачок от буквы *о* вверх, чем бы он ни был вызван — стремлением изменить положение слова на листе, спазмом кисти или неровностью бумаги, — создает под рукой новую ситуацию, на которую я должен ориентироваться в дальнейшем. Тем не менее, многократное написание слова «постфеноменология» показало, что такой скачок наблюдается в моем письме регулярно. Это говорит либо

о какой-то особенности моего организма, либо о том, что именно на букве *с* я понимаю, что начал отклоняться от условной горизонтали, и, чтобы нарисовать слово параллельно нижнему или верхнему краю листа бумаги, мне надо сместиться вверх относительно буквы *о*, либо о том, что особенности написания буквы, в частности, ускорение при движении сверху вниз в ходе рисования левого бока *о* и наличие в качестве локального ориентира только буквы *п* (лист бумаги может выступать здесь лишь глобальным ориентиром), делают такой скачок при переходе от *о* к *с* вынужденным. В пользу последней версии говорит то, что, когда я просил написать слово «постфеноменология» других людей, в их письме тоже наблюдался подобный скачок, в результате которого буква *о* в конечном слоге оказывалась немного ниже базовой линии. Впрочем, эти данные не исключают окончательно вторую версию, поскольку все, пишущие слово «постфеноменология», могут сталкиваться с одними и теми же практическими задачами в момент написания буквы *о* и перехода к букве *с.* Они связаны с методическим упорядочиванием текущей практики письма. Но каковы бы ни были причины такого феномена, он важен с двух точек зрения. Во-первых, он демонстрирует, что для пишущего точность письма — это не математическая точность пространственных отношений между создаваемыми элементами слова. Речь идет о практической точности, достаточной для решения текущей задачи написания слова на одной линии и с различимыми буквами. Во-вторых, появление новых надписей на бумаге ведет к изменению ситуации, которую мы вынуждены теперь учитывать в ходе письма. Я, пишущий, создаю сам для себя материальную среду своего действия в каждый момент времени. Эта среда всегда ситуативна и конкретна. Я не пишу в окружении усвоенных мной образцов поведения и образов графем. Я пишу среди создаваемых мной *вот этих* букв и среди *так* осуществляемых мной действий. Поэтому вопрос о причине вышеуказанного феноменально наблюдаемого скачка от буквы *о* к букве *с*, хотя и важен, но вторичен. Первичный вопрос о том, в каких практических обстоятельствах этот вопрос уместен и как эти практические обстоятельства сложились. Это вопрос о письме как живой практике в живом мире, оживляемом, т. е. организуемом и упорядочиваемом, этой практикой.

Дальнейший анализ написания слова «постфеноменология», хотя он необходим, занял бы слишком много места, поэтому здесь я остановлюсь, чтобы использовать приведенное урезанное описание в качестве основания для заострения возможной феноменологической стратегии анализа привычек. Хотя предложенное описание во многом согласуется с описанием привычек и навыков у Мерло-Понти, последний, на мой взгляд, упускает важный аспект, создающий существенное ограничение

для его понимания условий очевидности мира, в котором мы живем: организацию на уровне деталей. Постулируя независимость привычки как комплекса двигательных значений от конкретных особенностей ситуации и конкретных инструментов действия, Мерло-Понти фокусируется на связке инструмент — действие, не подвергая анализу способ упорядочивания мира, в котором эта связка приобретает смысл, т. е. не рассматривает ее как *практику*, разворачивающуюся в реальном мире. В результате возникает специфическая двойственность: для Мерло-Понти каждое действие не только осуществляется в реальном мире, но и закрепляется в нем как привычное, знакомое действие. У нас всегда есть два результата: само конкретное действие и привычка этого действия. Тупиковость такого удвоения обусловлена тем, что оно требует введения дополнительного набора привычек приобретения привычек, а этот регресс уже нельзя остановить. Единственный выход может заключаться в отказе от подобного удвоения и в анализе конкретного действия как привычного действия, для чего нам необходимо описание привычных действий во всех их феноменальных деталях.

Главным следствием такого заострения феноменологического взгляда является перенос внимания со связки объект — действие на сам упорядочиваемый мир. Привычка заключается в упорядочивании *мира*, а не *поведения*. Здесь в качестве концептуального обоснования мы можем использовать понятие «эмпирического стиля», введенное Гуссерлем. Согласно последнему, «вещи созерцаемого нами окружающего мира (всегда принимаемые так, как они наглядно присутствуют для нас [da sind] в жизненной повседневности и имеют для нас значимость действительных) имеют, так сказать, свои *„привычки“* и в типически сходных обстоятельствах ведут себя сходным образом. Если мы возьмем созерцаемый мир *в целом* в той текущей ежеминутности [Jeweiligkeit], в коей он только и присутствует для нас, то и в целом он обладает своей «привычкой», состоящей именно в том, чтобы по привычке продолжаться так, как прежде. Таким образом, эмпирически *созерцаемый* нами окружающий мир обладает *общим эмпирическим стилем*» [Гуссерль, 2004, с. 50]. Акцент на созерцании мира в данном случае можно интерпретировать двояко. Первая когнитивистская интерпретация ведет нас к понятию «когнитивного стиля», с помощью которого Шюц пытался понять процессы упорядочивания любого универсума смыслов, в котором разворачивается интенциональное действие. Но когнитивный стиль в данном случае не более чем обратная сторона того же удвоения действия, которое мы находим у Мерло-Понти. Порядок, которым обладает для нас повседневный мир, выносится за пределы самого этого мира. Но возможна и иная трактовка

приведенного высказывания Гуссерля. Понятие эмпирического стиля позволяет рассматривать практики упорядочивания мира и сам мир как тождественные. Упоминая созерцание, Гуссерль говорит о перцептивной доступности упорядоченности мира. Разумеется, речь не идет о каком-то «объективном» мире. Привычки вещей — это привычки мира, как мы его воспринимаем и как мы в нем действуем (здесь можно согласиться с Мерло-Понти, утверждающим отсутствие принципиальных различий между моторными и перцептивными навыками). Речь идет не о законах функционирования мира самого по себе, а об основаниях очевидности *нашего* мира. Поэтому опривычивание мира — это не формирование автоматизмов действия и не расширение нашего знакомства с ним, а обнаружение общего эмпирического стиля вещей в ходе и в качестве осуществляемого действия. Мы придаем миру эмпирический стиль, но не в том смысле, что мы используем некие когнитивные механизмы для его организации, а в том смысле, что организация нашего действия и *есть* организация мира.

Записывая слово «постфеноменология», я действовал привычно, но не потому, что я писал с какой-то определенной скоростью или умел рисовать буквы (сначала такой штрих, потом такая связка, потом такой штрих, потом такая петля...), или заранее знал, каковы должны быть расстояния между буквами, или реализовывал двигательный автоматизм и т. д. Каждый новый штрих соотносился со здесь и теперь упорядоченным миром, который демонстрировал свой эмпирический стиль в качестве методически осуществляемой организации деталей. Если бы привычка заключалась в формировании сигнификативного ядра, тогда мое письмо было бы похоже на единую траекторию, осмысленность которой была бы связана для писателя и читателя с возможностью приписывания этой траектории значения букв. Тогда разница между такой надписью:



и моей записью слова «постфеноменология» заключалась бы в том, способны ли мы применить определенную систему значений к данному «объекту» и приписать ему определенный порядок. Но отсутствие эмпирического стиля в случае приведенных каракулей обусловлено не тем, что мы не способны приписать этим каракулям смысл слова, а тем, что я не пишу слова так же, как я писал эти каракули, т. е. в виде траектории движения руки по бумаге. Я сразу пишу слова так, чтобы они составляли упорядочиваемый мир, наглядно демонстрирующий свой эмпирический стиль. Понимание письма как следа, остающегося в результате соприкосновения стержня с бумагой и требующего

для его понимания специфических когнитивных усилий (которые в случае естественного мира заключаются в рассмотрении этих следов из естественной установки), сродни графологической трактовке письма. И в том, и в другом случае конкретные действия рассматриваются с точки зрения их типичности. В данном случае не важно, носит ли эта типичность социальный или индивидуальный характер, поскольку общий принцип описания остается тем же самым. Конкретные детали мира являются лишь проводниками к подлинной организации, в которой и заключается привычка. Феноменолог постулирует в качестве принципа этой подлинной организации либо двигательное значение, либо обыденный социальный мир, а графолог — ментальные характеристики пишущего, но оба стремятся к одному: увидеть за конкретными деталями действия некоторый паттерн. То, что я, записывая слово «постфеноменология», всякий раз *в деталях* делаю это по-разному, не является в таком подходе проблемой, потому что привычка — это то, что *преодолевает* уникальные особенности каждого конкретного случая. Понятие же эмпирического стиля, напротив, предполагает, что привычка — это то, что *обеспечивает* уникальные особенности каждого конкретного случая. Мы должны отказаться от образа письма как движения ручки по некоторой (заранее известной) траектории, приводящего к появлению следов, понятность которых обусловлена нашей способностью различать в них буквы и слова. Письмо — это неискоренимо ситуативное производство упорядоченного мира, в каждый момент которого пишущий движется в мире, его эмпирический стиль задан разворачивающимся действием. Оказавшись в той или иной точке листа бумаги, я, как пишущий, двигаюсь далее в зависимости от того, какое место занимает осуществляемое мной действие в последовательности предыдущих и последующих действий написания слова. Понятность слова — это наглядная понятность, понятность его как слова подручного мира, доступного взгляду. Привычка письма — это не способность всякий раз делать *одно и то же* (писать и соединять буквы одним и тем же образом), а способность всякий раз, записывая слово *по-разному*, делать это компетентно.

Понятие «компетенции» здесь возникает не случайно. Оно указывает на важную особенность. Если мы всерьез принимаем идею эмпирического стиля вещей, тогда привычка становится чем-то большим, нежели «расширением нашего бытия в мире» [Мерло-Понти, 1999, с. 193]. Речь идет не только о приручении все большего числа объектов. Скорее, привычка — это расширение нашей компетенции в мире. Привычка — свидетельство *профессионализации* нашей повседневной жизни, признак и компонент все более широкого умения жить, т. е. умело осуществлять конкретные

практики. Как в какой-либо дисциплине эксперт отличается от новичка гораздо бóльшим количеством привычек, так и в обыденном мире появление новых привычек означает увеличение нашей способности действовать в нем, наших знаний и наших учений. Поэтому известная метафора сороконожки, предполагающая, что как только мы начнем обращать внимание на то, что мы делаем, мы не сможем действовать, — метафора, рутинно применяемая к привычкам и повседневным практикам, — только мешает анализу. Привычка, наоборот, предполагает *расширение* нашего внимания к миру и нашей способности упорядочивать его. Продемонстрировать это можно только путем описания организации мира в ходе осуществления практических действий на уровне деталей, поскольку именно конфигурация деталей делает возможным компетентное производство мира, обладающего определенным эмпирическим стилем, в виде *конкретной* и доступной непосредственному схватыванию упорядоченной ситуации. При этом конкретность не исключает повторимости и воспроизводимости наблюдаемых феноменов порядка. Наличие привычки письма означает, что каждый раз, когда передо мной стоит задача написать слово «постфеноменология», я делаю это умело. Я всякий раз пишу слово «постфеноменология» так, что, будучи неповторимым в своей непосредственной явленности, оно остается повторимым в своей процедурной организованности, и, более того, оно процедурно повторимо *именно потому*, что оно уникально явлено. Именно способность осмысленного производства *вот так* написанного слова называется «привычкой».

Что же в таком случае означает скорость совершения действия, которая часто используется в качестве критерия и одновременно доказательства необходимости понимания привычки как автоматической, машинальной практики? Быстрота действия вроде бы указывает на то, что привычка — это «спрессованная» последовательность актов, сведенных только к одному измерению — исполнению. Каждое новое повторное исполнение ускоряет получение определенного результата, пока не будет достигнут динамический предел навыка, который мы уже не сможем реализовывать быстрее. И такая быстрота, согласно данной точке зрения, обеспечивается тем, что из осуществляемых актов постепенно вычитается осознание, пока все разнообразие когнитивных и моторных компетенций не будет сведено к одной двигательной компетенции. В идеале привычка — это действие ради действия, хотя при этом мы можем давать различные объяснения тому, почему и как мы делаем то или это (например, почему мы курим). Однако такой подход упускает важный момент, касающийся того, *что* именно делает человек, осуществляющий привычное

действие. Человек, осуществляющий привычное действие, делает некоторую *работу*. Представление о том, что привычка заключается в автоматическом повторении выученной последовательности актов, «пробуждаемой» типичной ситуацией, исходит из того, что работа привычного действия сводится к совокупности совершаемых актов. Поэтому предполагается, что новичок, только осваивающий определенную практику, совершает больше работы, так как он предпринимает действия, корректирует их, спрашивает об их значении, пытается предугадать будущие обстоятельства, думает о результате, осмысляет сделанное ранее, пробует новые направления действия, внимательно изучает каждую ситуацию и т. д. Эксперт же, как носитель привычки, мгновенно определяет, в каких обстоятельствах он находится, и быстро реализует соответствующую последовательность действий. Но почти все указанные действия новичка не являются действиями *в* некоторой практике. Те его действия, которые *являются* действиями в некоторой практике, совершаются медленно не потому, что он пока не автоматизировал свое поведение, а потому, что он пока не освоил практику. Новичок, совершая *больше* действий, чем эксперт, в то же время совершает *меньше* практической работы. Если под работой понимать не совокупность актов, а совершение действий в рамках и в качестве определенной практики, т. е. анализ актуальных обстоятельств и построение компетентного (осмысленного в форме данной практики) действия, тогда привычка — это такое расширение компетенции, которое предполагает увеличение практико-специфической работы производства феноменов порядка.

Из моего изложения написания слова «постфеноменология» видно, что совершаемая мной работа не уменьшается, а увеличивается: моя писательская компетенция заключается в том, что я выстраиваю букву за буквой, ориентируясь на локально складывающиеся обстоятельства своего письма, которые «объективны» в том смысле, что представляют собой способы упорядочивания мира. Если бы я попробовал написать вместо слова «постфеноменология» русский алфавит, у меня получилось бы вот что:



При этом я бы действовал заметно медленнее, с бóльшим число остановок, с бóльшим числом ошибок, но не потому, что у меня нет привычки писать алфавит, а потому, что вместо работы письма я бы в каждый момент пытался вспомнить следующую букву алфавита. Несмотря на то, что в прошлом я сталкивался с алфавитом значительно чаще, чем со словом «постфеноменология», и несмотря на то, что при обучении письму меня сначала учили

писать буквы алфавита (хотя вряд ли друг за другом как одно слово), а не слово «постфеноменология», мне проще написать слово «постфеноменология», потому что в процессе письма я *знаю*, какая буква следующая. Это знание имеет сугубо практическую природу, т. е. конституируется действиями в актуальной ситуации. Написание алфавита дается мне труднее, потому что вместо того, чтобы писать, я пытаюсь писать по некоторому правилу, постоянно соотнося то, что делаю, с этим правилом.

Таким образом, описание привычки — это описание работы, совершаемой действующим лицом всех тех задач, которые она/он решает в каждый момент времени, способов их решения, ситуаций, с которыми она/он сталкивается. Эта работа требует особой компетенции, специфической для конкретной практики, в моем случае практики письма. Отчасти работа, которую я совершал, записывая слово «постфеноменология», может быть концептуализирована с помощью понятия «прегнантность» (Prägnanz), введенного в гештальт-теории[1]. Прегнантность означает стремление той или иной формы организации к простоте, упорядоченности и устойчивости в данных обстоятельствах, т. е. к «хорошей форме». Гешталь-теоретики попытались обнаружить законы таких «хороших форм», однако феноменология позволяет нам пойти дальше. После того, как Мерло-Понти показал, что гештальт обозначает не закон восприятия, а факт наличия организации, нам нет необходимости пытаться обнаружить общие законы, управляющие любыми формами. Продолжать действовать феноменологически — значит выявлять то, что является в данных обстоятельствах *законным*, а не *закономерным*. Эти законности являются идентифицирующими законностями конкретных практик. Поэтому речь должна идти о хороших формах той или иной практики, т. е. о рабочих структурах. Письмо как привычка заключается в совершении законных действий, которые являются опознаваемыми действиями письма. И эти действия письма не просто интегрируют в себя те или иные объекты мира (руку, ручку, бумагу, чернила), но заключаются в его упорядочивании, мир приобретает определенный эмпирический стиль. Эмпирический стиль в данном случае — это одновременно и специфический *облик* мира, и специфическая *практика* мира, которая свидетельствует о компетенции действующего в той мере, в какой он действует процедурно, т. е. в какой можно сказать, что его деятельность является не совокупностью актов, а методическим осуществлением. Описывать действие по привычке — значит описывать *процедуру* как демонстрируемую черту локального действия.

1 Автором термина считается Макс Вертгеймер. См. [Wertheimer, 1923].

Социологи пытались понимать эту процедуру как социальную в том смысле, что она имеет социальное происхождение (нас когда-то ей научили), функционирует всегда в социальном контексте (минимум как-то оценивается окружающими) и закреплена в форме социально разделяемых способов поведения. Отсюда вырастает, например, понятие габитуса у Пьера Бурдье. Между тем феноменологический анализ позволяет выявить автохтонную социальность *самой* привычки, которая остается вне поля зрения социологического анализа[1]. Автохтонная (и незаметная) социальность письма заключается не в литературном стиле, не в нарративе, не в словаре, а в самой практике письма (ручкой на бумаге или с помощью пишущей машинки, или с помощью компьютера), которую можно только детализировать. Понимание условий конституирования само собой разумеющегося мира предполагает движение ко все более детальному описанию. Детали при этом должны быть соразмерны осуществляемой практике. Понимание нейронных механизмов письма не даст нам понимания того, что такое письмо, поскольку это не более мелкие детали практики письма, а детали совсем другой практики. Когда я пишу ручкой на бумаге, детали, которые оказываются релевантны для меня как пишущего, связаны с упорядочиванием подручного мира, т. е. это детали производимых штрихов. Их делает социальными не то, что возникновение и осуществление соответствующих навыков можно соотнести с какими-либо групповыми или коллективными практиками, а то, что они представляют собой компетентное достижение. Говоря о социальном, мы говорим о практической компетенции.

Таким образом, заостренная при помощи понятия «привычка» феноменология требует изменения политики феноменологического описания, которое должно не только концентрироваться на деталях актуальной практики, но и отказаться от любой попытки поведения этих деталей под «хорошую форму», как ее видит исследователь. «Хорошая форма» должна пониматься как радикально эмпирический феномен. Так заостренная феноменология показывает, какими должны быть любые науки о повседневном мире, в первую очередь социология. После лингвистического и прагматического поворота

1 Ник Кроссли предлагает иной взгляд на различие между феноменологическим и социологическим подходами к привычке [Crossley, 2001, 2013]. В качестве социологических подходов он рассматривает, прежде всего, концепцию габитуса Бурдье и концепцию техник тела Марселя Мосса. Альтернативную трактовку роли понятия «привычка» в социологии дает Стивен Тернер [Turner, 1994], для которого привычка — слишком менталистский и индивидуалистский концепт, чтобы его можно было использовать в рамках собственно социологической теории практик.

нам нужен эмпирический поворот. Несмотря на нескончаемые попытки обоснования социологии как эмпирической науки, социологи лишь различным образом объясняли мир, тогда как дело заключается в том, чтобы изучить его. Выше я постарался показать, что путь его изучения может быть проложен с помощью феноменологии, направленной против нее самой.

Библиография

1. *Гуссерль Э. Картезианские размышления/пер. с нем. Д. В. Скляднева. СПб: Наука, Ювента, 1998.*
2. *Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию/пер. с нем. Д. В. Скляднева. СПб: Университет, Владимир Даль, 2004.*
3. *Мерло-Понти М. Феноменология восприятия/пер. с франц. Д. Калугина и др. СПб: Наука, Ювента, 1999.*
4. *Райл Г. Понятие сознания/пер. с англ. Е. Крупениной и др. М.: Идея-пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000.*
5. *Шюц А. О множественности реальностей/пер. с англ. А. М. Корбута // Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. № 2. С. 3–34.*
6. *Camic Ch. The Matter of Habit // American Journal of Sociology. 1986. Vol. 91. № 5. P. 1039–1087.*
7. *Crossley N. The Phenomenological Habitus and its Construction // Theory and Society. 2001. Vol. 30. № 1. P. 81–120.*
8. *Crossley N. Habit and Habitus // Body and Society. 2013. Vol. 19. № 2–3. P. 136–161.*
9. *Embree L. Reflection on Planned Operations // Dialogues in Phenomenology/D. Ihde, R. M. Zaner. (eds). The Hague: Martinus Nijhoff, 1975. P. 176–191.*
10. *Garfinkel H. Ethnomethodology's Program: Working out Durkheim's Aphorism. Lanham: Rowman & Littlefield, 2002.*
11. *Gronow A. From Habits to Social Structures: Pragmatism and Contemporary Social Theory. N. Y.: Peter Lang, 2011.*
12. *Gurwitsch A. Marginal Consciousness // Gurwitsch A. The Collected Works. Vol. 3: The Field of Consciousness: Phenomenology of Theme, Thematic field, and Marginal Consciousness. N. Y.: Springer, 2010. P. 411–537.*
13. *Henry M. Philosophy and Phenomenology of the Body. The Hague: Nijhoff, 1975.*
14. *Ihde D. Postphenomenology: Essays in the Postmodern Context. Evanston: Northwestern University Press, 1993.*
15. *Merleau-Ponty M. The Structure of Behavior. Boston: Beacon Press, 1963.*
16. *Moran D. Edmund Husserl's Phenomenology of Habituality and Habitus // Journal of the British Society for Phenomenology. 2011. Vol. 42. № 1. P. 53–77.*
17. *Turner S. P. The Social Theory of Practices: Tradition, Tacit Knowledge, and Presuppositions. Chicago: University of Chicago Press, 1994.*
18. *Wertheimer M. Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt. II // Psychologische Forschung. 1923. Bd 4. № 1. S. 301–350.*